

Олег Ермаков

За сибирским Вергилием

Заметки о романе Виктора Астафьева «Прокляты и убиты»

Кто мог бы, даже вольными словами,
Поведать, сколько б он ни повторял,
Всю кровь и раны, виденные нами?

Данте. «Божественная комедия»

1

Это была синхронистичность в духе Карла Юнга, то есть, совпадение, имеющее смысл. Прочитав первую книгу романа «Прокляты и убиты» Виктора Петровича Астафьева, вдруг остановился однажды утром у книжной полки, решая, какую книгу взять с «поэтических полок»? Что-то давно не читал стихов, нарушая правило: утро начинать с поэзии... И рука потянулась к небесно-голубой обложке с облачными пятнами. Возможно, после земляного смрада и ужаса первой книги астафьевского романа (а еще и долгого карантинного сидения) захотелось чего-то именно небесного. Но — это был Данте. «Божественная комедия». Тут же хотел задвинуть книгу меж «Песнями южных славян» и Элиотом, да вдруг сообразил, что неспроста потянул эту книгу-то.

Неспроста. Начал читать с утра Данте. А днем вторую книгу Астафьева — «Плацдарм». Оба текста сразу стали перекликаться.

Видения флорентийца ужасны. Особенно кошмарны условия «Песни двадцать первой». Там росшеп Злых Щелей, заполненных кипящей смолой, с бригадой надсмотрщиков с такими душевными именами как Клыкастый Боров, Собачий Зуд, Косокрыл, Рыжик Лютый и так далее. Они крылатые, хвостатые, волосатые. В руках у них багры, как у каких-нибудь плотогонов с Енисея и Оби. И как только грешник, купающийся под толщей кипящей смолы, вынырнет, чтобы глотнуть воздуха и вообще перевести дух, кто-нибудь из этой команды срывается, летит и тут же цепляет багром

Ермаков Олег Николаевич — прозаик. Родился в 1961 году в Смоленске. Закончил среднюю школу, работал лесником Баргузинского, Алтайского и Байкальского заповедников, корреспондентом смоленской областной газеты «Смена», сторожем, сотрудником Гидрометеоцентра. Служил в Советской Армии в Афганистане. Автор книг «Знак зверя», «Арифметика войны», «Холст», «С той стороны дерева», «Песнь тунгуса», «Радуга и вереск» и др. Лауреат премии им. Юрия Казакова, финалист «Русского Букера» (дважды). Член СП СССР, член Русского ПЕН-центра. Живет в Смоленске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

заевавшегося, аки бревно, а скорее, — как спнувшую рыбину, тогда все они и давай рвать его баграми с хрюком и визгом, и рыком. Казать лик свой грешникам непозволительно. «Так повара следят, чтобы их служки / Топили мясо вилками в котле / И не давали плавать по верхушке». Но не только лица нельзя показать, а и даже какой-то части тела — ради облегчения мук: заеваешься — тут же в лопатки вонзятся крючья багров беспощадных плотъегонщиков. Или даже клыки — у смотрящего по имени Клыкастый Боров они имелись в наличии, и он ими ловко вспарывал спину и грудь одному наваррцу, который еще в бытность земным человеком по бедности был отдан матерью вельможе в услуженье, «мой отец был дрянь и голь, / Себя стубивший и свое именье», ну и, добившись благосклонности вельможи, этот парень пустился во все тяжкие: начал брать взятки, как и все, здесь купающиеся, в этом знойном озере. Например, Гомита и Цанке, известные, как поясняет примечание, министры-мздоимцы, Бонтуро, влиятельнейший в г. Лукке человек и величайший взяточник, и так далее. Наваррец, истязаемый на берегу, сумел сбежать, пока заплечных дел мастера толковали с путешественниками: Данте и его проводником Вергилием. И успел скрыться. За ним бросился крылатый страж и еще другой, но не схватили беглеца и тогда сцепились друг с другом в злобе и сами угодили в смолу. Товарищ их по кличке Борода схватил крючья и кинулся к ним на помощь, да не успел: «А те уже спеклись внутри коры». Любопытно, что после того как Данте с Вергилием отправились дальше, поэту пришлось на ум простое соображение о погоне. Мол, раздосадованные демоны решат отомстить тем, кто стал невольной причиной этого происшествия. И только он высказал это соображение Вергилию, как сзади высоко послышался треск их крыльев, и путники едва успели нырнуть в какую-то трещину в скалах. Рыскающие демоны на своих нетопырских крылах пролетели мимо.

Что, слегка пробирают сии строфы? Не знаю как читателей, а меня — да. И в этом сила таланта флорентийца. Ведь выдумка...

А чуть позже меня вел уже другой проводник: «И все-таки не самолеты были в этой битве главным решающим оружием, и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тальники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы, легкие в переноске, скорострельные эмкашки с лентой в пятьсот патронов. Они все заранее пристреляны и теперь, будто из узких горлышек брандспойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей. Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские — все они кричали одни и те же слова: “Мама! Божечка! Боже!” и “Караул!”, “Помогите!..” А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые и нетронутые пулями люди связками уходили под воду, река бугрилась, пузырясь, содрогалась от человеческих судорог, пенилась красными бурунами».

Сразу ясно: тут вместо Косокрыла и Рыжика Лютого небесные асы да пулеметчики. Это начало второй книги «Проклятых и убитых» Астафьева — «Плацдарм». Идет операция по захвату берега Днепра, в романе он назван Великой рекой.

Но по порядку.

2

Вернемся к первой книге — «Чёртова яма».

Это своеобразное чистилище, подготовка в Сибири, где располагается 21-й запасной стрелковый полк, куда попадают герои романа — новобранцы. Но если у Данте «Чистилище» пронизано светом и полнится надеждой, это вообще гора, по которой души, а с ними и флорентиец с Вергилием, восходят к «Раю», то у нашего сибирского проводника это лишь преддверие ада. Впрочем, и у Данте есть преддверие, сумрачная область, где томятся души теплохладных людей. И даже в самом начале

поэмы есть лес... Как раз в лесу в Сибири и находился запасный полк: «Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижном мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны». В этом лесу стояли сырые осклизлые бараки с дымящимися скверными печами, в которых новичкам и выпало провести несколько месяцев. Офицеры устроились получше, в землянках.

И пошло-поехало, началась *развеселая* жизнь новобранцев. Голод, холод и неразбериха. Сразу и вши. Обмундирование старое, да и то не по всякому подогнано. Для двоих гигантов-новобранцев — Коли Рындина, старовера, и разудалого Лехи Булдакова — так и не нашли одежды, а главное, обуви по размеру. И ходили они черт те в чем, мучились и страдали. Сразу вспомнился герой другой военной книжки — «Бойни номер пять» Курта Воннегута, который, попав в плен к немцам, щеголял в каких-то театральных ботфортах и в мантии, доставшихся ему случайно во время спектакля, устроенного английскими закоренелыми пленными для американских пленных новичков. Но Лёха-то Булдаков да старовер Коля Рындин не в плен попали! Родина призвала их на защиту. Родина, то есть партия во главе с товарищем Сталиным, крепила оборону, ковала непобедимость РККА — Рабоче-крестьянской Красной Армии, но вот одеть-обуть своих защитников, спасителей коммунизма не удосужилась. Одеть-обуть и накормить. Главное чувство всей первой книги Астафьева — чувство голода. Неприкаянные новобранцы бродят теньями среди бараков и сосен и только и думают о еде. И по-всякому пытаются утолить это чувство, эту напасть. Если можно утащить что-то — тащат. Продают, обменивают. Разживется солдатик несколькими картошками, нанижет их на проволоку, подкрадется к землянке офицерской да и повесит свой картофельный шашлык в трубу, и картошечка начинает запекаться, а солдатик лежит поблизости, следит, чтобы конкурент не объявился да и от офицеров прячется, не ровен час огрести пенделей и подзатыльников, а то и наряд по чистке отхожего места.

В столовой — чад и шум. Там кормят, кормят, но досыта никто не наедается.

Однажды шла эта команда новобранцев с реки, где они таскали бревна, — ясное дело, вместо боевой подготовки этим-то они и занимались, — и тут на лошади скакал молодежавый бравый генерал, осадил лошадь, окинул недоуменно шарамыжников чумазых взглядом, приказал тут же всем умыться. А уж холодина, снег выпадает. Но очумелые и заторможенные солдатики покорно пошли к воде, заплескались. Потом выстроились. Генерал их осматривает. Глядь — один чего-то прячет. А ну? А тот подобрал где-то капустный лист и ждет, когда эта гроза в папахе ускачет, чтоб сожрать добычу. Генерала передернуло. И учинил он проверку на солдатской кухне. Ну, прибыли проверяющие, поорали, погрозили, да вернулись на свои сытные харчи, а солдаты — на свои. Все как было, так и осталось, а в чем-то даже хуже стало, столовские правила построжили, но только для солдат.

Вообще надо признать, что многое новобранцам сходило с рук, всякие шутки-прибаутки, идеологически опасные, увливание от работ, словесные перепалки с командирами. Но это было похоже на кошки-мышки: кошка следит за мышкой, понарошку ее упускает, а потом — хватя.

Однажды офицер до смерти забивает доходягу. Воинство новобранцев ошетинилось было ружьями со штыками, да командир сумел унять бунт. В другой раз два брата Снегирёвы пошли в самоволку в недалекую деревню к мамке. Их искали. Они вернулись. И были расстреляны. Расстрел этих двоих перед строем поразительно похож на такой же случай, о котором мне поведал дядька Витя, Виктор Трофимович Данилкин, муж моей тети, ушедший на фронт в семнадцать лет и сразу попавший в стальные грозы под Оршей. Там тоже перед строем расстреляли двоих. И офицер,

командовавший расстрельной группой, так же подскочил и, выхватив пистолет, дострелил раненого. Поразительное совпадение картинки. Почерк один и тот же.

Астафьев создает галерею портретов. Герои романа — в основном солдаты, но и офицеры тоже. Это все простые рабоче-крестьянские отпрыски. Среди них, конечно, выделяется старовер Коля Рындин, молитвенник с чистым сердцем, который скоро позабудет все свои молитвы. Интересен офицер Щусь. Гибкий, с зычным голосом, очень ловкий и ладный, прошедший уже бои и получивший ранение на Хасане, он да рядовой связист Лёшка Шестаков — главные герои обеих книг. Но если о Щусе рассказывается довольно подробно, то о Шестакове до времени вообще почти ничего не сказано. Но позже и о нем читатель узнает, что «...в жизни, может, еще и не разбирался, но природу знал», ибо родился и вырос в тайге, на берегу большой реки. «Отец у Лёшки был из ссыльных спецпереселенцев, большой, угрюмый мужик, из хлебороба переквалифицировавшийся в рыбака». То есть, отец — потомственный хлебороб, это мы отметим. Как и то, что, будучи спецпереселенцем, «борясь со своей губительной отсталостью, неистребимой тягой к земле, ко крестьянскому двору, к труду, имеющему смысл, в конце концов он устремился к оседлой жизни здесь, на Оби». В жены взял «девчонку полухантыйского-полурусского роду-племени». Вот и Лёшка: по сути хлебороб, хотя и поработал до войны на охотничьем промысле с мужиками. Успел поохотиться, а на выходе из тайги в поселке, где сдавали мясо и пушнину, пройти еще одно посвящение: стал мужчиной.

«У Лёшки хватило ума и северного характера, склонного к потаенности, не оскорбить словом того, что летучим облачком коснулось его жизни, отлетело в тот уголок памяти, где должны храниться у человека личные ценности». И мы не будем всего пересказывать.

Но этот северный характер, склонный к потаенности, сказывается и на всем романном облике героя. Он так и не раскроется вполне (несмотря на многие его, прямо сказать, подвиги на переправе), если не принимать во внимание, что Лёшка Шестаков — альтер эго писателя. Впрочем, надо иметь в виду и то, что роман вышел в двух книгах, не был дописан. Почему-то за третью книгу Астафьев не взялся.

Образ младшего лейтенанта, а потом и капитана Щуся полнее. Этот образ живой, меняющийся, получающий завершение именно в конце второй книги.

Скорик, особист, с которым Щусь постигал науку побеждать в одном военном училище, рыл компромат на однокашника — уж слишком тот был независим и многое себе и своим подчиненным позволял, но: «Родом Щусь из русско-немецкого или казачьего поселения, что в Семиречье, под Павлодаром. Зацепка малая, чтоб упечь куда надо героя Хасана. Скорик запросил павлодарский гражданский архив, тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Щуся в армию и направлял в военное училище. Хоть советскую икону пиши со Щуся — настолько чист он и безупречна его биография. Ма-ахонькая, совсем крохотная зацепка в бумагах была: род казаков Щусей где-то на уровне прадедов сплетался с немецкой ветвью...»

Хорошая фамилия у него была — как «удар хлыста или порыв ветра». Хотя и не его, не данная от рождения. Его воспитывала монашка-тетка, красавица, чей облик навсегда запечатлелся в памяти. Вместе с теткой оказался он на пароходике, что вез ссыльных в северные края по большой реке, и там и получил новые имя и фамилию, будто прошел некое посвящение — в категорию советского народа. Спасая племянника, тетка пожертвовала своей монашеской чистотой, и начальник конвоя сдержал слово, вывез мальчика и отдал на воспитание семье ссыльных еще дореволюционных времен в Тобольске — Щусевым. Позже писарь штабной из украинцев записал его Щусем, недослышав. (То же произошло и с моим двоюродным дедом, боевым летчиком, командиром звена, потом авиаполка — был Боровченков, а стал Боровченко.)

Образ тетушки всегда жил в сознании Алексея Щуся: «Со временем это сделалось болезнью, ото всех скрываемой. Тетушка Елизавета — тоска, мать, сестра, женщина

женщин, прекрасней, добрей, лучше ее не было и нет никого на свете». И он помнил ее черную фигурку на берегу холодной предзимней Оби, оставшуюся там, среди переселенцев, и провожавшую пароходик взглядом, а может, и жестом: крестила, наверное, уплывающего в неведомое племянника. Образ этот иконописный, восходящий к святым русским женщинам.

Щусь терпеть не мог двоедушия, приспособленчества, в его-то молодые лета он уже выстрадал правду истинного офицера в боях с самураями, тоже известными поборниками воинской чести. И это был кодекс чести, скорее, русского, а не советского офицера, вот в чем дело. Астафьев об этом прямо не говорит, но именно таков смысл слов и дел и всей судьбы Щуся. Неприятие официоза видно уже в беседах с тем особистом Скориком. Кстати, Скорик довольно живым получился. Поначалу-то ядовито и хищно взялся за Щуся, да вдруг разжал зубы, ослабил хватку, даже напиток отважился с явным идеологическим недругом — это он просто чуял, понимал без лишних слов, — и вообще стал чуть ли не другом этого героя боев с самураями.

Скорик и сам мечтал вырваться из этой поистине чертовой ямы — на фронт, догадываясь по людям, там побывавшим, что на фронте — настоящее. Ведь и однокурсник его Щусь уже совсем не такой, как остальные, независимый, резкий в суждениях, предельно честный.

(Автору этих строк приходилось наблюдать, как поразительно меняются люди, побывавшие в бою. С большинством из них происходили те же метаморфозы, что и с младшим лейтенантом Щусем. И, например, младший по службе солдат, сходявший с офицером наводчиком в горы под пули вместе с пехотой, вдруг тут же равнялся с солдатами, послужившими на полгода и даже на год больше. Правда, это касается только артиллерийской батареи, где мне довелось служить. В той же пехоте все было хуже.)

«Чёртову яму» читать было бы совсем неумоготу, если бы не эти портреты-окна в мир довоенный. Хотя и там, на гражданке, был разгул новой власти и царили нравы далеко не добрые, но Астафьев сдобривает биографии своих героев таким ядреным юмором, что случалось смеяться до слез.

Думая о речи этого романа, невольно вспоминаешь творение другого сильного духом автора — «Дон Кихота». При чтении истории великолепного идаляго понимаешь, что без Санчо Пансы эта история выглядела бы... да, тощей, как и сам ее герой. Это была бы какая-то выдумка, натяжка. Но Санчо Панса спасает все, его речь дает кислород всем тканям и мышцам романа. То же самое и речь Астафьева. Тяжеловесный, толстовский синтаксис искрится крестьянским исконным юмором.

На самом деле о том, что читать без биографий героев книгу было бы трудно, — это сказано сгоряча. Астафьевский юмор пронизывает весь роман, иногда он вспыхивает в самые драматические и страшные моменты. И это — золотые жилы всей архитектоники романа, если можно так сказать. Золотые жилы этой огромной махины, то ли горы, то ли такой особой территории, разделенной на две части: сибирский лес с бараками да оба берега Великой дымящейся от огня и крови реки...

Хотя на этой словесной карте следует упомянуть и еще одно место. Называется оно так: Осипово.

3

Под конец подготовки к войне ребят послали на работы в совхоз, где они жили в избах, грелись, ели сало и даже водку пили. А еще и в клубе танцевали с местными девушками. Вот это пребывание в селе Осипове на мирных работах — эту зимнюю обмолотку хлебов и можно, пожалуй, сравнить с «Чистилищем» Данте. Были там хлеб и свет. И поэзия: «Внезапно впереди сверкнуло и разлилось без волн, без морщин, без

какого-либо даже самого малого движения и дыхания желтое беззвучное море. Скорбное молчание сковало это студеное затяжелевшее пространство. Сжалось у всех сердце, замедлился шаг — Боже, Боже, что это такое? Неужто хлебное поле, неужто со школы оплаканная несжатая полоса вьется? Смолкли, онемели, остановились. Шелестит немое поле, никаких звуков живых, никакого живого духа, одно шелестение, один предсмертный немощный выдох сломавшихся соломинок, по которым струится снежная пыль.

От толпы отделилась долговязая, неуклюжая фигура, глубоко проваливаясь в снегу, наметенном меж смешанных сломанных стеблей, громко кашляя, забрел Коля Рындин в это мертвым сном наполненное море.

— Господи! Хлеб!»

Душу пронзающие прозаические строфы. В этом весь наш сибирский проводник, таежник-крестьянин по духу и происхождению. Такая же сила была в строках еще одного крестьянина Божией милостью — Твардовского, в гимнических строфах, посвященных земле в поэме «Страна Муравия». Вот они: «Земля!../ От влаги снеговой/ Она ещё свежа./ Она бродит сама собой/ И дышит, как дежа.// Земля!.. Она бежит, бежит/ На тыщи вёрст вперёд./ Над нею жаворонок дрожит/ И про неё поёт.// Земля!/ Всё краше и видней/ Она вокруг лежит./ И лучше счастья нет, — на ней/ До самой смерти жить». А до этого Моргунок, ищущий неслыханную волю крестьянскую, рай крестьянский — Муравию, видя, как над бороздой шагает «грузный грач», а над полями весенний пар голубеет, думает, что земля — «...как пирог, —/ Хоть подбирай и ешь».

Есть философия хлебного колоса. Главные ее проводники — Некрасов, Клюев, Кольцов, Твардовский и, конечно, Астафьев.

«Коля Рындин взолаивал, углубляясь и углубляясь в спутанную гущу пустых желтых хлебов, быть может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной. Перестоялые, перемерзлые стебли хлебов хрустели под его тяжелыми ботинками, крошились останки колосьев в его могучих, грубых руках — ни зернышка, ни следочка, все брошено, все устало от ненужности, бездоля, покинутости своей.

— Да что же это делается? Хлеба не убраны! Господи! Да как же так? Зачем тогда все? Зачем?

— Война, — раздалось с дороги».

Это как снег в храме у Тарковского в «Андрее Рублеве».

Астафьев поет гимн хлебному полю: «О, поле, поле, хлебное поле, самое дивное творение человеческих рук! Тысячи, может быть, миллионы лет прошло, прежде чем нашла себе щелку на берегу моря-океана, комочек остывшей лавы меж скал и пронзила его корешком живая травинка на планете, все еще с высот сорящей пеплом, охваченной огнем и дымом на грозно опаленных вершинах».

Здесь в полную силу звучит эта самая философия хлебного колоса. «Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя». И человек вел свою борозду, пел свою песню пахарскую, да тут явились дармоеды в рыцарских доспехах да сутанах и начали грабить хлебороба. Рыцари да комиссары в галифе.

Перо писателя трещит от напряжения и гнева, того и гляди, воспламенится: мол, выскочил этот черт из табакерки, «выродок из выродков», «принес бесплодие самой рожалой земле русской», отбил у народа охоту работать-то!

«Какой же излом, какое уродство, какие извращения, какие чудовищные изменения произошли в человеческом сознании, когда пахарь и сеятель начал терять уважение к хлебному полю, перестал ему молиться, почитать его, дошел до того, что начал предавать его огню, той самой силе, которая до него не раз уже разрывала и испепеляла земную плоть».

Тут мне вспоминаются мои походы вокруг хутора Твардовских, записки о которых потом сложились в книгу.

Заночевал как-то на краю оврага и поля. Созревшие овсы звенели среди глубоких сырых оврагов с кабаньими лежками. Кабанов там было много, ночами их возня, хрюканье, визг не давали спать в палатке. Время от времени в окрестностях постреливали. И вот в тот вечер прямо к моей палатке поехал трактор. Вначале я решил, что так низко идет вертолет. Но звук был не тот. Тракторный. Может, началась уборочная? На ночь глядя... Председатель велел. Да в чем дело? Фары мелькали в море овсов. Ночью меня разбудила стрельба. Били в моем овраге. Но не рядом, а где-то дальше, ниже. Четыре выстрела подряд. И все стихло. Я уже понял, что это охотники. Удачной у них была охота или нет, так и не узнал. Утром снова приехал трактор. А потом я нашел следы этих охотников. Дорогу они проломили прямо по овсам. Шел я по ней и удивлялся. Надо же, не побоялись начальства, охотоведов, а самое главное — своего же труда не пожалели. Ведь кто будет разъезжать по этим укротным полям на «Белорусе»? Какие варяги? Ясно — сами же колхозники. И пришла мне дикая мысль: а мог бы сидеть за рулем искатель Муравии Никита Моргунок? Никита Моргунок, в чьем сердце была частица света... Эти ночные охотники показались бы ему фантастическими существами. Как жаждал Моргунок земли! Хотел лелеять всходы. А тут давят направо и налево свой же крестьянский труд... Ну как — «крестьянский»? Колхозный же...

«Хлебное поле едино в своем бедствии и величии, оно земной бороздой соединено со всеми полями Земли, и воспрянет, воспрянет, засияет хлебное поле на западе и на востоке, и в искитимской стороне, на сибирском приволье воспрянет. Земле-страдалице не привыкать закрывать зелеными и деревьями гари, раны, воронки — война временна, поле вечно...» — продолжает Астафьев тянуть этот мыслительный плуг. И уж коли тут тень Данте, не грех вспомнить и поэзию его проводника, самые лучшие строфы «Георгик» посвящены трудам земледельца и виноградаря:

Как урожай счастливый собрать, под какою звездой
Землю пахать, Меценат, и к вязам подвязывать лозы
Следует, как за стадами ходить, каким попеченьем
Скот разводить и каков с бережливыми пчелами опыт,
Стану я здесь воспевать. Ярчайшие светочи мира...

Создателю этих стихов по душе пришлось бы помыслы нашего сибиряка. Впору объявить новый лозунг: хлебобобы всех стран... Но уже мы знаем, к чему приводят все эти лозунги и объединения. Злой рок преследует эту землю. Хлебное поле обязательно будет сожжено, раздавлено, разодрано. Не чужими, так своими. Как это было сперва у нас, об этом Астафьев и пишет: «Дивное диво! Уборка хлеба среди зимы. Воистину все перевернулось в этом мире. Не зря, не зря переворот был, не зря Господь отвернулся и от этих землю русскую населяющих людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившейся. А виновата-то она лишь в долготерпении. От стыда и гнева за чад, ее населяющих, от измывательства над нею, от раздоров, свар, братоубийства пора бы ей брыкнуться, как заезженной лошади, сбросить седока с трудовой, седлами потертой, надсаженной спины».

В этих строках — нервный узел всего романа. Или родник. Отсюда все происходит: боль и вопрошание, ненависть и любовь. И, в общем, ответ на все вопросы здесь и дан. Случился переворот, сиречь революция большевиков, все и пошло наперекосяк. Это был дубль библейского действия между Каином и Авелем.

Отсюда все напасти земли русской. И остается лишь согласиться с Астафьевым в его неприятии коммуно-комсомольской камарилы. Плясали, раскулачивали, крушили храмы, митинговали, выкашивали самых лучших — что ж теперь толковать об одежде да хлебе для солдат, что ж удивляться стремительному продвижению вражеских войск по родной земле...

Скажут, как обычно: да ведь время такое было! Не так давно и революция случилась, потом голод, то да се, не успели еще в себя прийти.

А вы думаете, многое изменилось с тех пор?

Когда читал «Чертову яму», не раз выдыхал с крепким ругательством: да ведь это мы, это про нас!.. Разница лишь в том, что новобранцы Астафьева мучились от холода, а новобранцы в горном лагере под туркменским Кизыл-Арватом изнывали от жары. Шел 1981 год. Новобранцев готовили к боевым действиям «за речкой», за Амударьей, в Афгане. Кормили клейстером, хлеба не хватало, посуды не хватало, ели в три смены, причем две смены ели из грязных котелков и крышек от котелков, потому что и воды вдоволь не было для питья, уж не говоря о мытье котелков или грязных рож. И главный настрой наш был один: где бы пожрать? Кралась ночью и воду пили в бассейне, лакали, как собаки шелудивые. Потом зато и дристали, в три яруса стояли в санчасти койки, все забитые дизентерийными. Вся команда в двести человек заболела. Всего-то двести человек. На дворе эпоха развитого социализма. Брежнев чавкает чего-то про международную безопасность, про свершения, дуры и дурни с плачем провожают под сердечную песенку Лещенки надувного олимпийского мишку, а живых ребят насаживают дехкане на древние вилы, и не жалко. Жрать не давали, пить не давали. Вместо панам выдали пилотки, и у многих носы и уши вспучились гнойными маргаритками. Да, насчет посуды. Запомнился один малый, он очистил банку от ваксы травой — не водой! — травой и песком, да и туда ему выплюхнули ковш клейстера, и он с аппетитом уплетал, а на мой удивленный комментарий отозвался так: «Мне мама велела: главное — есть, иначе подохнешь». Довести бы эту мудрость солдатской мамы до генералов, маршалов и всего Политбюро.

И в совхозе работали, а как же. Это было, наверное, какое-то отделение совхоза, в горах среди полей, цветущих ало тюльпанов диких, курятники огромные стояли, мы их чистили, пожирая яйца без соли и хлеба. Потом, ясное дело, мучились, бегали всю ночь.

Водили на какой-то бетонный завод, мы там разбирали завалы ржавого железа и камней.

Возили чистить капониры для ГСМ. И чего только не делали, лишь не изучали боевое дело. А некогда! То дристали в санчасти, то курятники, то взлетную полосу в порядок приводить.

Цирк продолжался и в полку, куда нас перебросили самолетами, вертолетами, а потом машинами. Еды было побольше, но разнообразием она не отличалась: пшенка, консервы рыбные, рыбные консервы и пшенка, хлеб, кислый такой, что блевали от изжоги. И ведь явился однажды чин полковой, отвечающий за кормежку, и умолял нас не жаловаться, обещал и селедку впредь давать, и свежую капусту, и даже огурцы, а следом нагрянул генерал, и мы что-то там блеяли в ответ, мол, нормально, довольны, сыты. Ну, разумеется, снова нас кормили пшенкой и консервами, да еще верблюжатиной синей из Австралии почему-то, странно, и вокруг полка по степям бегали эти верблюды. А еще зрели в садах всякие фрукты, на огородах овощи, ведь Азия, теплынь. Но демиурги эпохи развитого социализма не могли наладить закупку и поставку этих богатств на солдатские столы. Близок локоть, а не укусишь. Да мы кусали, конечно, как и астафьевские герои, перли все, что съедобно, у дехкан: виноград, арбузы, овец. Да и не только это...

А нас и тех новобранцев разделяло почти полвека. Полвека свершений, речей, угроз, съездов, разоблачений культа, интенсификации... Да интоксикации большевистской, от коей и до сих пор не можем в себя прийти.

Позволю себе еще вспомнить из этого афганского прошлого момент, как раз резонирующий с философией хлебного колоса.

Как-то пришел на КПП дехканин с белой козлиной бородой, в белых просторных одеяниях, в чалме и с посохом, старик с черными глазами и темными выразительными

бровями. Дожидаясь переводчика, мы угощали его хлебом, чаем холодным. Он с благодарностью угощение принял. А как увидел хлебные крошки, сыплющиеся из-под штык-ножа, принялся смахивать их со стола в свою большую мозолистую ладонь и забрасывать в рот, потом и вовсе сел на корточки и начал собирать особенно большие крошки с бетонного пола. У нас у всех лица вытянулись.

А ведь бывало, что наши танки и бэтээры перли по хлебному полю и гаубицы перепаживали его. Так мы, потомки крестьян, несли хлеб и свободу средневековому крестьянину Востока.

И в тот миг на КПП мы и уловили этот извечный дух крестьянского братства.

Да что толку. Горожане все равно победители в этом споре города и деревни, потому что город — оплот государства, а не деревня. А где государство, там и сила. И сила ищет выход. И рано или поздно находит его. И наше государство крошило кишлаки и горы, с тупым усердием устанавливая большевистскую власть и там, раздаривало на митингах резиновые калоши и рыбные консервы, запамätовав в пропагандистском раже, что афганцы рыбу не любят.

Да что говорить...

Но вернемся в Осипово, озаренное особым писательским чувством, что ненароком напомнило одну книгу далековатого Беккета, у него старик умирающий лежит и глядит в окно, долго лежит, соображает, рассматривает людей в окнах, и однажды он сподобился узреть истинное чудо: сияние — то озарилось окно влюбленных.

И Осипово, как то окно.

Осипово словно волшебное место: здесь солдаты вдруг опомнились, будто с них слетел какой-то наговор жестокий. И они снова стали людьми, парнями от сохи. И вдруг таланты в них выявились. В застолье в избе, чуть клюкнув водочки и сразу сильно охмелев, один из них потребовал: баян мне! Хозяин, дед, и сам принявший на грудь по такому важному случаю, да еще и добавку уперший у хозяйки своей строгой, робко поинтересовался, а гармошка-то не сойдет? Нет? Ну, что ж — и побежал, и вернулся с настоящим баяном. И — «И ждал, ждал, приоткрыв рот, не дыша, веря и не веря в приближение музыки, ноги его сами собой нервно дрыгались, перебирали одна другую под столом». То же и читатель. И когда этот парень Хохлак заиграл, и читатель всю эту музыку услышал и увидел как чудо, как «Рождение трагедии из духа музыки», есть такая книга о древнегреческой трагедии — а происходящее и было трагедией не слабее трагедий Эсхила и Софокла с Еврипидом, и музыка задавала высокий лад, она буквально возносила и слушателей, и читателей над заснеженным селом, над полями. И снова возвращалась в ту избу среди сугробов, с засохшими цветами в рамах, с печкой, с фотокарточками воюющих сынов на стене. И высшим ее моментом была реплика хозяйки хаты: «Настасья Ефимовна повторяла и повторяла, глядя на портреты приемных сыновей:

— Ванечка! Максимушка! Чё у нас в избе-то деется...»

И вся эта трагедия Астафьева «Прокляты и убиты» и родилась из музыки крестьянской души, из векового крестьянского лада, нарушенного большевистским переворотом, приведшим к власти упырей, которые затеяли неслыханное истребление своего народа, хлебороба, землепашца, а потом оглушенного и неслышанной людоедской мировой войной.

И во второй книге уже властвует тягостная и дикая музыка этой войны, которой больше подходит большевистское же определение одного произведения Шостаковича: какофония. Ну, точнее, там было сказано: сумбур, — да это одно и то же, но войне больше подходит первое определение. Какофония. Ею нам вволю дает наслушаться наш проводник.

Но хочется еще задержаться в Осипове.

Офицер Щусь встретил там свою любовь. Астафьеву удалось создать неуловимо дивный женский образ той возлюбленной лейтенанта, восходящий к женским героиням Льва Толстого, лучшим женским образам русской литературы.

Имя у нее изобильно женственное и плавное: Валерия Мефодьевна. Уже оно ласкает слух. Дочь бухгалтера совхоза, она там работала начальницей отделения после сельхозтехникума. Зрелая женщина, статная... Щусь к ней присматривался, присматривался, да вдруг и понял, кого она ему напоминает: тетушку! Монашку. «Вечная его мать, венок с названием — женщина, она, она предстала ему во плоти и лике здесь, в сибирском глухом краю». Плоть, лик, вечная — слова-то какие. К горнему миру тянут.

Но писатель не отступил, продолжил эту высокую ноту и сумел так все дальше напеть, что эта жительница степной Сибири... тут я начал подыскивать сравнения, метафоры, но сообразил, что уже есть, с кем сравнить: с другой женщиной подлунного мира — с Беатриче. Но сибирячка ближе, теплее. «Валерия открыла забеленные морозом, пушистые ресницы и скосила на него глазищи, в лунном свете обрамленные куржаком, совсем они были по солдатской уемистой ложке». Может, чуть и грубовато получилось, но выразительно и точно. Это едут Щусь и Валерия в саних по ночной степи. До этого он видел ее фотографию в альбоме: «Нездешнего, не деревенского вида деваха, неброско, но ладно одетая, с косой, кинутый на грудь».

Мы видим гордую и сильную женщину, и наш гусар робеет подле нее... От этой Валерии Мефодьевны веет силой, спокойствием и чистотой. Такая-то женщина и нужна хлеборобу. Здесь бы им и зажить.

Но Щусь и не хлебороб вообще-то, а профессиональный воин. И на дворе — война.

4

Астафьев недогнувшей рукой ведет нас дальше, в самый ад.

И сразу же оторопь берет от простых соображений. У нас есть проводник, мы находимся далеко во времени от той Великой реки. А каково же было Астафьеву спускаться в эти круги мыслительной и сердечной воронки? Одному? И каково же было рядовому Астафьеву вживе пересекать ту Великую реку?

От всего происходящего на Великой реке... хотел сказать: дух захватывает, но нет, не захватывает, тут лучше сказать так: дух сворачивается. Сворачивается от ужаса.

И круги ада Данте бледнеют.

«Берег, заостровка, отмели, стрелка и охвостье острова, все заливчики, излучины были завалены черными раздутыми трупами, по реке тащило серое, замытое тиной лоскутье, в котором, уже безразличные ко всему, вниз лицом, куда-то плыли мертвецы. Вокруг них пузырилась пена. Так, в мыльно-пузырящейся пене и уносило трупы вниз по реке, таскало по стрежи, трепало в омутах, прибывало к берегу.

Мухота, воронье, крысы справляли на берегу свой жуткий пир. Вороны выклевывали у утопленников глаза, обожрались человечиною и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах — так любят они плавать на бревнах.

По берегу теньями бродили саперы, загнутыми крючьями из шомполов стаскивали трупы к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесет водой, живущие по реке миряне выловят и захоронят горемык».

Да и ведь у Данте в аду мучились действительно грешники, убийцы, взяточники, злые наветчики. А здесь? Ну, встречались, конечно, и лихие люди, уголовники. Но в большинстве своем — простые жители этой земли, железнодорожники, хлеборобы, рыбаки, шоферы.

Хлебороба призвали на кровавую жатву.

И весь этот трудовой люд, вооружив, бросили на прорыв через Днепр. Они должны были захватить плацдарм на другом берегу для последующего широкомасштабного наступления. Подготовились к этому прорыву, как всегда — плохо. Плыли кто на чем, кто как. Кто на доске, кто на плащ-палатке с упакованным

внутри сеном, кто, держась за подвернувшийся плотик или даже за старую лодку, — ее загодя отыскал Лёшка Шестаков, чтобы переправить на тот берег свое радиотелефонное хозяйство да и тут же наладить связь. Многие просто не умели плавать. Как тут не вспомнить «Переправу» из поэмы «Василий Тёркин»:

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересёк наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят...
[И не все успели сходу
Повернуть, отплыть назад.]

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Под огнём неразбериха —
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо, —
Переправа сорвалась.

(Кстати, известна реплика Ахматовой по поводу этой поэмы, мол, веселенькие солдатские стишки, — тут сомнение одолевает, а читала ли она всю поэму?)

У Астафьева переправа не сорвалась. Но река за это взяла огромный выкуп. И во время этой переправы писатель выказал себя истым визионером, увидевшим подлинный «лик» войны, точнее, хвост войны. Видение это пробирает до дрожи. Ничего подобного мы не найдем у Данте. Вот оно.

Солдаты загнали баркас с оружием в протоку, и «...протока была поднята в воздух, разбрызгана, разлита, взрывы рвали ее дно, и как бы на вдохе всасывало жидкую грязь и воду, подбрасывая вверх, во тьму вместе с вертящимися камнями, комьями земли, остатками кореньев, белой рыбы, в клочья разорванных людей. Продырявленный черный подол ночи вздымался, вздыхал вверх, купол воды, отделившийся ото дна, обнажал жуткую бесстыдную наготу протоки, пятнисто-желтую, с серыми лоскутьями донных отложений. Из крошева дресвы, из шевелящейся слизи торчал когтистой лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, к которому прилипла толстой ресницей трава. Из травы, из грязи, безголовая, безглазая белым привидением ползла, вилась червь, не иначе как из самой преисподней возникшая. Состояла она из сплошного хвоста, из склизкой кожи, увязнув, валяясь в грязи, тварь хлопалась по вязкому месту, никак и никуда не могла уползти, маялась в злом бессилии».

И эта червь (так у Астафьева) глотала одного за другим теплых и живых ребятушек, дабы обратить их в грязь. Эту червь и питает с древних времен человечество, холит, лелеет, поет о ней песни, слагает гимны ей, сочиняет философские трактаты. В древнем китайском трактате, названном по имени создателя, «Сунь-цзы», буквально в первой главе сказано, что «война — это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Это нужно понять».

Мы это уже уяснили. Государство для того и существует в первую очередь — чтобы воевать. Кропоткин так и говорил, что «государство» означает «война», эта политическая система так устроена, что неизбежно будет навязывать свои законы и правила, свою политику другому государству. Он же утверждал, что наряду с внешней

войной государство ведет и внутреннюю, ибо государство — орудие богатых против обездоленных. Ну да, мы и видели, как на московских протестах полицейские ломали ногу протестанту, девушку били кулаком в живот, молотили дубинками направо и налево, а потом послушные суды клепали потерпевшим сроки.

То же утверждал и Толстой: война, мол, есть не что иное, как борьба между несколькими правительствами за господство над их подданными. «Поэтому-то и невозможен международный мир путем разумных конвенций, третейских судов до тех пор, пока будет существовать бессмысленное и пагубное подчинение народов правительствам».

Все правители жаждут прослыть в веках великими. Что для этого надо? Да участвовать в великом деле. А таковое есть, по древней мысли, что? Война.

Толстой прямо говорил о воинской повинности, что это есть обязанность быть палачом, и готовиться к этому надо лучшим образом. Иначе как же великому правителю замутить великое дело-то? Для этого и надобны делатели послушные и умелые.

И ведь всегда они находятся для любых, самых безумных и жестоких войн.

И сколько блеска и шума торжеств вокруг войны, словно это и не червь поганая, осклизлая, а красавица, прекрасная дама рыцарских сонетов и снов, Беатриче. «Король голый!» — хватило ума закричать одному. А тут никто не крикнет: червь осклизлая! Идет на хвосте грязном, выпятив грудь, красуется.

И эта червь есть бог государства. Любого государства. И они насылают червь на червь. И те сшибаются, сплетаются, давят друг друга, заглатывают.

Астафьев мучительно допытывается ответа: «Тянется и тянется по истории, и не только российской, эта вечная тема: почему такие же смертные люди, как и этот говорун-солдат, посылают и посылают себе подобных на убой? Ведь это ж выходит, брат брата во Христе предает, брат брата убивает. От самого Кремля, от гитлеровской военной конторы, до грязного окопа, к самому малому чину, к исполнителю царской или маршальской воли тянется нить, по которой следует приказ идти человеку на смерть».

И в этих помыслах слышен неизбывный анархизм, присущий русскому народу не в меньшей степени, чем царизм, по замечанию Бердяева. Это крестьянский стихийный анархизм: «Цари и вожди много едят, пьют, курят и блядуют — от них одна гниль происходит и порча людей», — наотмашь раздает плюхи Астафьев. И даже творит молитву, вполне анархистскую: «Не для того же Ты наделил умом людей, чтобы братьям надувать братьев своих. Ум даден для того, чтобы облегчить жизнь и путь человеческий на земле. Умный может и должен оставаться братом слабому. Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна...»

Хорошо-то как сказано, Виктор Петрович!

Только не слышал никто ничьих молитв на той переправе, и чушки стальные пожирали плывущих, разнося в куски, мешая плоть с илом. Это был истинный ад. Данте, выдавший осады, сражения, и вообразить не мог такого. Но и то, что он видел, о чем слышал и читал, заставляло и его мучительно отыскивать средство спасения человечества от войны. Об этом он размышляет в своем трактате «Монархия». Сначала, по мысли Данте, надо объединить Италию, страна была раздроблена; затем объединить все страны и народы, построить одно мировое государство, которое поэт и называл монархией. Поручкой тому, что в этом государстве все будут равны — немцы, итальянцы и так далее, — афоризм Данте: «Мы, кому отечество — мир, как рыбам море». В этой монархии будут отменены все границы, и тогда настанет мир. Примерно о том же рассуждал в своей маленькой работе «К вечному миру» Кант. Написать эту вещь его подвигло название похоронного бюро: *К вечному миру*. То есть, перед человечеством две дороги: к вечному миру, который олицетворяет голубь с масличной ветвью («Стоит трудиться над ней, многоплодной оливою мира!») — восклицал

Вергилий), и *К вечному миру*, сиречь похоронному бюро. И первая дорога у Канта та же, что и у Данте.

Но мы-то, живущие в эпоху глобализма, понимаем, что это утопия. И человечество все-таки выбирает вторую дорогу и с азартом движется по ней. Рано или поздно мы все ворвемся в это вселенское похоронное бюро.

5

А сражение на плацдарме длилось, то затихая, то возобновляясь. И время там, на реке Великой, просто остановилось. Читаешь: день за днем на плацдарме — все то же. Никакого движения сюжета. Одно и то же: кровь, голод, грязь, вши, крысы, вороны. А оторваться нет сил. Таков могучий талант писателя. Солдатам нечего жрать, нечем стрелять, тот великан Булдаков снова мучится в обувке не по размеру, снятой с мертвого, все шарятся в поисках съестного, Лёха Шестаков достает глушенную рыбешку и сырьем ее поедает, а другие не могут, но на то он и сибиряк. Немец хочет сбросить их обратно в реку, но ребята осатанело защищаются, как зомби. Им уже все равно, умереть или жить. Они дошли до такого состояния, когда уже все равно. Наверное, такими и были легендарные берсерки викингов и древних германцев... Да это же славяне! А вот противостоят им как раз потомки древних германцев, да и викингов.

Астафьев изображает врагов во плоти и духе. По сути, это такие же рабочие и крестьяне, мазурики с берегов Балтики и из сельских местностей на Рейне. Ну кормят их лучше, экипировка у них лучше. Наши радисты-телефонисты удивляются трофейному ремнабору немецкого телефониста: «...спецнабор в коробочке — портмоне с замочком, в желобки вложены, в кожаные петельки уцеплены: плоскогубцы-щипчики, кривой ножик, изоляция, складной заземлитель, запасные клеммы, гайки, зажимы, проводочки, гильзочки — назначение их не вдруг и угадывалось». А у нашего брата? Здесь я расхохотался: «Отважным связистам-иванам вместо технических средств выдавалось несчетное количество отборнейших матюков, пинков и проклятий. Всю трахомудию, имеющуюся на вооружении у фрица, иван-связист заменил мужицкой смекалкой: провод зачищал зубами, перерезал его прицельной планкой винтовки или карабина, винтовочный шомпол употреблял вместо заземлителя».

Мне довелось послужить некоторое время как раз и радистом-телефонистом, и могу свидетельствовать: ничего не изменилось.

Но если в изображении наших в слове Астафьева таится тепло, порой откровенно пылая, то в словах-мазках, которыми он пишет немецкие портреты, нет никакой даже искры, они изначально холодны, словно Творец создавал эту нацию, уже израсходовав запас тепла. Таковы товарищи-фрицы, сумевшие бежать из советского плена и снова оказавшиеся на *передке*. Вроде бы обычные ребята, но где-то в горах Европы у них зарыт клад из награбленных колец, зубов, цепочек и так далее. К этому кладу они и стремились из плена. И хотели вообще заделаться пацифистами. Наш Шорохов, биндюжник, сменивший несколько фамилий в зонах и госпиталях, тоже чуть что не упускает случая, набивает карманы своих галифе, как бурундук мешки защечные орешками. Но его трофеи взяты не у мирных людей. Впрочем, что будет, когда он доберется до бюргерских палестин, можно легко догадаться. Астафьев все-таки честно и безжалостно выписывает путь этого персонажа: в конце он, обшарив карманы раненного Лёхи Шестакова, бросает его, заставив себя думать, что Лёха убит. Ну не хочется ему возиться с раненым. Еще и жалеет, что поделился до этого с ним трофейными галетами, мол, не в коня корм...

И все же Шорохов не вызывает специфического омерзительного чувства. А немцы, фашисты в романе — вызывают. Как вызывали они до последних дней такое же чувство у моей матери: среди расстрелянных ста шестидесяти семи жителей ее

родного смоленского села Каспля была ее лучшая подружка, такая же девятилетняя девочка. Никакие трезвые соображения на этот счет, которые я высказывал, мол, среди них были и нормальные люди, солдаты поневоле, и вообще немцы осознали свою вину в полной мере и стали другими, не могли убедить ее ничуть. Они вызывали в ней то же чувство, что возникает и при чтении биографий немецких героев в романе Астафьева.

Это отношение хорошо выразил тот же биндюжник Шорохов, наблюдая, как пленные молятся у могил своих товарищей: «О Боге вспомнили, падлы! — морщился Шорохов, косясь в сторону молящихся. — Ишь, какие смиреннькие сделались. Ишь, какие добренькие. Оне, чего доброго, после войны так вот и замолят свои тяжкие грехи. А нам, безбожникам, чё делать? Нам кто грехи наши отпустит?..»

Похожее отношение не только к немцам, но и вообще к европейцам, можно найти у далеких предшественников Астафьева, у славянофилов Хомякова, Аксаковых, Киреевских. Это можно выразить таким образом: ложка рыбьего жира — очень полезно!.. А противно.

Но они-то не воевали (за исключением Алексея Хомякова, да и тот дрался с турками).

Астафьев и хвалит тех же немцев за аккуратность, дисциплинированность, научные достижения — в пику нашему Сталину, дескать, командиры из-за плохой связи долбили телефоном по башке связисту, а лучше бы звездануть чем потяжелее «...любимого вождя и учителя — это он, невежда и вертопрах, поторопился согнуть в бараний рог отечественную науку и безголово пересадил, уморил в лагерях родную химию, считая, что ученые этой науки и без того нахимичили лишка, отчего происходит сплошной вред передовому советскому хозяйству и подрывается мощь любимой армии. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый и любимый народом, характером посдержанней, хотя и ефрейтор по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых ученых, дал им возможность всласть потрудиться на оборонную промышленность». Но и в этом «панегирике» уничижительный сарказм и неприятие.

Даже в изображении такого немецкого Платона Каратаева, военного санитаря, а потом связиста Лемке таится неизъяснимое неприятие, хотя бы даже в такой детали из прошлой мирной жизни гуманного немца: прислуживая с восьми лет знаменитому местному доктору Грассу, ухаживая за лошадьми, Лемке уносил навоз в свой цветник. Нет, точнее так: «Ему разрешалось в сумке уносить тот навоз в цветник, разбитый возле маленького, из старых шпал и досок слепого домика...» Именно *разрешилось*. Вон какие они аккуратные и щепетильные, эти немцы, без разрешения и сумку навоза не унесут. А цветочки он потом сдавал цветочнице.

И Астафьев вроде щедро наделяет этого немца гуманностью, даже, пожалуй, через край: «Лемке не раз перевязывал русских раненых в поле, не единожды разломил с ними горький солдатский хлеб, оросил страждущих водой, оживил Божьей кровью — сладким вином. А сколько русских раненых, спрятанных по сараям, погребам и домам, «не заметил» он, сколько отдал бинтов, спирта, йода в окружениях, под Смоленском, под Ржевом, Вязьмой». Но есть во всем этом что-то приторное, вот такое же сладковатое, как упомянутое вино.

И это привкус крови.

Гуманность бедного немецкого солдатика меркнет в сполохах ада, сотворенного его вождем, его братьями... И всеми нами.

Война — червь и болезнь всего человечества. Об этом рассуждал еще Бердяев. Война — яркий симптом глубинной болезни человечества. И лечить надобно не войну, а больное сознание мира. Инструмент давно вручен: это луч христианства. (Кто-то волен добавить ислам, буддизм...) Именно на него последние упования героев романа и, похоже, самого Астафьева.

Христианские мотивы пронизывают роман. К Богу взывают безбожники, многие на войне вспоминают обрывки молитв, заново учатся креститься. И название романа взято из старообрядческой стихир, эпиграфы из Нового Завета.

Майор Зарубин, страдалец плацдарма, не уходящий от солдат и после ранения, в своих рассуждениях лучше всего выразил суть этих токов романа, этих подспудных исканий: «За всю историю человечества лишь один товарищ не посылал никого вместо себя умирать, Сам взошел на крест. Не дотянуться пока до Него ни умственно, ни нравственно. Ни Бога, ни Креста. Плыви один в темной ночи».

Для многих новая советская идеология с новыми мессиями не прошла проверку огнем. Как и ее глашатаи. Даже всем командирам, не говоря уж о солдатах, например, осточертел начальник политотдела дивизии Мусенок. Это главный носитель новой идеологии. Маленький, шеголеватый, въедливый, он разъезжает по подразделениям, лезет в телефонные переговоры со своими поучениями, даже читает суконные стихи в радиоэфире про подвиги. И это стихотворение резонирует с такой вот стихийной молитвой офицера Щуся: «Боже милостивый! <...> Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом, придумал все это, изобрел, сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом: и царей, и королей, и вождей — на десять дней, из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов — на Великокриницкий плацдарм!»

Тут уместно снова обратиться к рассуждениям майора Зарубина: «Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная — спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к родине — во все времена товар этот нарасхват».

А тем паче в такое-то время. Вот главный спекулянт и есть этот Мусенок.

Работал он до войны корреспондентом «Правды» по Южному Уралу, громил идейных врагов, «подвел под расстрел Челябинский обком партии, следом и руководящую верхушку области подчистил». В Златоусте добился сноса всех храмов, зато вместо них красовался там новый телец большевистский: маленький чугунный Ленин. «Обдристанный воронами, этот гномик — копия Мусенка — торчал из кустов бузины, что африканский забытый идол». В друзьях у Мусенка, а может, и в родственниках, был всесильный Мехлис, бывший главред «Правды», в войну заместитель народного комиссара обороны СССР. То есть, вон куда восходит этот Мусенок. Или, откуда нисходит. «Правда», Кремль.

Что же за правда Кремля?

Теперь-то мы знаем, что в лучшем случае то была полуправда, а зачастую откровенная ложь. Кремль плавал в кровавых облаках ложных доносов, счет которым был многотысячный. Мусенок, конечно, пел осанну вождю и новому строю, превознося его. Таких-то типов, обманщиков, Данте узрел в одном из рвов ада: «Мы слышали, как в ближнем рву визжала / И рылом хрюкала толпа людей / И там себя ладонями хлестала». Настало время покаяния для лжецов. «Туда взошли мы, и моим глазам / Предстали толпы влипших в кал зловонный, / Как будто взятый из отхожих ям». Поправим: из докладов этих мусенков.

...Но капитан Щусь не склонен был дожидаться Дантова наказания для Мусенка. Оказавшись снова на нашем берегу вместе с остатками своих взводов, Щусь не мог сразу переключиться на почти мирный по сравнению с тем, что царил на другом берегу, лад. Не отпускало. И когда взбалмошный Мусенок выдернул его из хмельного сна и заставил стоять в исподнем и выслушивать оскорбительные поучения, что-то в нем хрустнуло.

Боевой капитан разделался с этим идейным мучителем по-свойски. Взял на себя этот грех. По сути, сделал то, о чем тайно мечтали многие. Он воздал за все унижения и оскорбления, за всю кровь невинных, пролитую новой властью чекистов и хриstopродавцев, олицетворением коей и стал этот Мусенок.

Что было со Шусем и его ребятами, ставшими и нам родными, дальше, мы так и не узнаем никогда. Невольно сравниваешь трехчастность творения Данте с двумя книгами Астафьева. Старый солдат решил не продолжать эту книгу хлебороба, отправленного на кровавую жатву, книгу солдата, исполненную ярости и тоски, не находящих ни в чем разрешения.

Конечно, исходя из названия, можно с уверенностью сказать, что ничего подобного третьей части «Божественной комедии» из-под его пера не вышло бы. И солнце победы никак не могло обернуться тем солнцем, что затапливает, пронизывает заключительные песни поэмы Данте. Почему все герои Астафьева прокляты и убиты, даже те, кто остался в живых? Ответ ясен, его дает сам писатель в тех же эпиграфах: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Переворот заставил людей, соотечественников, угрызать друг друга. А потом пришло истребление этой чудовищной войной. И вина убийства лежит на всех, на всем человечестве, на побежденных и победителях. Тут уместно упомянуть и мудреца Лао-цзы, призывавшего встречать войско победителей плачем.

И все-таки не хочется соглашаться с большим писателем Астафьевым.

Погибшие, тот же сержант Финафатьев, бывший колхозный парторг, или полуармянин-полуеврей разумный Васконян, которого оберегал ввиду его нескладности и большого ума Щусь (и этим напомнил мне командира разведроты в нашем полку Тудвасева, опекавшего одного своего подчиненного поэтического и философического склада ума, моего лучшего друга), или архангельский пройдоха и заморыш Петька Мусиков, и многие-многие другие, потонувшие на переправе, убитые на плацдарме, уже невиновны ни в чем, ни в чем. И здесь хочется оставить нашего сибирского проводника и вновь обратиться к Данте, и увидеть иную реку:

И свет предстал мне в образе потока,
Струистый блеск, волшебною весной
Вдоль берегов расцвеченный широко.

Живые искры, взвившись над рекой,
Садилась на цветы, кругом порхая,
Как яхонты в оправе золотой;

И, словно хмель в их запахе впивая,
Вновь погружались в глубь чудесных вод.¹

Неужели им не была дарована эта река света, Вергилий?

¹ Перевод М.Лозинского.